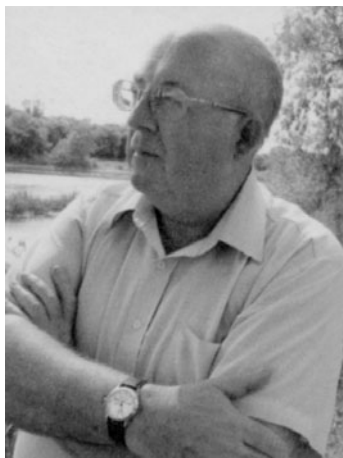


ВАЛЕРИЙ ТИХОНОВ



ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ

РАССКАЗ

Дождь был вроде бы и несильным, но одежда Петра Степановича промокла почти насквозь. Со старенькой шляпы, напившей влаги, дождевые капли падали на выдавшийся виды плащ, откуда стекали тонкими струйками в успевшую уже раскваситься землю.

Морщинистое лицо старика тоже было мокрым. Дождь не считался ни со старостью, ни с заслугами — он накидывал и накидывал свою осеннюю крапь куда только можно. Временная вседозволенность это ему позволяла.

Стоявший под этим морозящим и нудным дождём старик вдруг почувствовал, что губы его стали солёными.

— Чудеса, да и только, дожди подсолонились, надо же!

Он ещё раз облизнул губы и неожиданно понял, что никакой это не дождь, а самые что ни на есть настоящие слёзы.

— Вот ведь, скажи, уже и забыл, когда плакал-то в последний раз, на похоронах Макаровны своей, кажись. А тут — надо же!

Рука машинально потянулась к карману, но тут же дёрнулась обратно.

— Постираться б надо, вон даже платок зачуханный — доставать стыдно! Да, жива была бы покойница, разве б так было? Вроде и не запущенный — и рубашка белая, и галстук, и костюм ещё ничего, хоть далеко не новый, а всё одно не то!

Степаныч тяжело вздохнул и смахнул набежавшие слёзы рукой.

— Да, дела! — почему-то вслух произнёс он, — за что ж она меня так?

ТИХОНОВ Валерий Алексеевич родился в 1946 году в г. Лиски Воронежской области. Автор нескольких поэтических и прозаических книг. Член Союза писателей России

Он переступил с ноги на ногу, хотел было двинуться наконец-то с этого пяточка, на котором стоял уже незнамо сколько, но взгляд, брошенный уже в который раз на это казённое здание, стоящее неподалёку, остановил его.

И вновь ощутил соль на губах. Не мог, ну никак не мог Пётр Степанович понять эту совсем ещё юную девицу, что так незаслуженно обидела его. В чём вина-то его, в чём? В том, что по слякотине этой пришёл подузнуть про добавку к пенсии? Так что ж тут плохого? Ведь сам пришёл, не надо-едал никому, в очереди даже отстоял, хотя мог бы как заслуженный человек и так пройти.

— Какой уж там заслуженный? Разве на заслуженных так орут: “Когда же вы кончитесь, надоели уже со своими цацками-бряцками!”

Так не одевал я ни орденов, ни медалей, хотя и мог бы весь свой арсенал на грудь вывесить. Не купил, не своровал, кровушкой своей в лихолетье военное оплатил! Степаныч всё-таки достал скомканный носовой платок, высморкался и снова положил его в карман.

— А может, зря не одевал? Увидала бы награды, не рявкнула так? Ить, наверняка, какая-то совесть да сердечность есть ещё в них, в потомках наших. И сами мы виноваты во многом.

Чего спужались-то, чего трухнули — стыдно, видите ли, стало ордена надевать! От кого, за кого стыдно? За себя? За то, что голод холодом заедали да в окопах вшей кормили, чтобы страну спасти, чтобы вот такие, как эта стрекоза, не знали, что такое бомбёжка, какая на вкус мамалыга из промёрзшей кукурузы? Чтоб спокойно губки красили да на дискотеках выплясывали? Нет, не стыдно за это! За что же тогда? Может, за то, что четыре раза ранен был, да жив остался, хоть и ношу до сих пор осколок под сердцем, спутника своего, теперь уже вечного. Хотели было доктора вытащить, да побоялись: сердечко может не согласиться с таким их решением...

Петр Степанович ещё раз оглянулся на светящиеся окна серого дома и медленно зашагал к автобусной остановке.

— Ладно, будя, чего уж теперь! Оно обидно, конечно, такое слышать, но... Они и про войну-то почти ничего не знают нонче...

Старик всё ещё пытался усмирить свою ветеранскую обиду на эту девушку, почитай сверстницу внучки, Танюшки, хоть как-то оправдать её сегодняшний срыв...

Приезжали недавно с Зойкой, дочкой его, попроведать деда. Вроде и недалеко живут — что нонче сто километров, а всё некогда — то работа, то учёба, то дела домашние. Слава Богу, хоть изредка навещают. Спросил между делом у внучки про войну, знаешь, мол, чего об ней или нет?

— Знаю, — говорит. — В Чечне она, там, где папка мой погиб! — На этом вся беседа и кончилась. Дальше язык не повернулся ничего спрашивать. Да, четыре года уже, почитай, как зятя Николая нет. Хороший был мужик, правильный. Потому-то и в Чечню попал, справедливость хотел сыскать. А нашёл погибель свою безвременную... Надо же, бьют свой своего, а за что про что — никто не знает! Мы-то хоть по супостату стреляли, со своей земли гнали погань фашистскую...

Степаныч вдруг отчётливо вспомнил февраль сорок второго, форсирование какой-то речушки, первое своё ранение. Вон, нога так и не отошла, до сих пор подхрамывает маленько. В тот раз многие его друзья-однополчане полегли, зато фашистам подсыпали перцу под хвост. Тогда и первую награду свою, орден Красной Звезды, получил...

Старик и не заметил, как за мыслями-раздумьями своими дотопал до автобусной остановки. Ждать долго не пришлось — юркая “Газелька” подрулила чуть ли не к самым ногам. В маршрутке почти никого не было, а потому можно было и присесть. Степаныч собрался уже примоститься на ближайшее сиденье, как вдруг услышал голос водителя:

— Слышь, отец, а проезд оплачивать кто, Пушкин будет?

— Дык я, это... ветеран, — замешкался дед и начал суетливо растёгивать плащ, пытаясь достать ветеранское своё удостоверение...

— Заманали вы уже, ветераны-ветеринары, — с какой-то разухабистой весёлостью хмыкнул шофёр. — Не, ну ты сам представь: тут выручка нуж-

на, и так народу кот наплакал, а тут вы... Ладно, до остановки доведу, а там на атэпэвский пересаживайся, льготный...

Степаньчу было стыдно и перед сидевшими пассажирами, равнодушно смотрящими в окно, и перед своей беспомощностью, и перед этим ухарем за рулём.

Стыдно и до боли обидно. Нет, теперь уже даже не за то, что снова его, ветерана Великой Отечественной войны, восьмидесятилетнего старика, унизили, оскорбили можно сказать, а за то, что он дожил до этого дня. Всего неделю назад, выпивая рюмку за юбилей свой с дочкой да другом Максимычем, радовался, что сквозь войну прошёл, что раны свои одолел — пересидел, что в первый год нового века шагнул... А сейчас... Сейчас он горько сожалел о своём долголетии.

— Ещё неизвестно, кто больше счастлив: я или те, кто не дожил до этого страшного времени. Они хоть и пожилы меньше, зато ушли с верой своей, что не зря жизнь прожили, кровь проливали. Да и похоронили с почётом, государство позаботилось. А за что же мне-то досталось такое — своими глазами глядеть, как подвиг наш человеческий, память святую в канаву сточную сливают? Эх, ты, жизнь моя! Кому ты теперь нужна такая?

— Слышь, дед, приехали — станция Дерезай, кто тут лишний — вылезай! — вывел его из раздумий шоферский голос.

Степаньч молча отодвинул дверь, вышел и сел на лавочку автобусной остановки. Сердце билось какими-то рывками, то бешено колотясь, то почти затихая. В голове стоял непрерывный гул, напоминающий звук падающих на землю бомб, а ноги почему-то стали ватными...

Человеческая боль, круто замешенная на горькой обиде, распирала грудь, сжимала пересохшее горло, пыталась снова излиться скупой слезой из воспалённых глаз. Степаньч опять было полез за платком, но остановился:

— Не смей, товарищ гвардии сержант! Отставить слёзы! Белый флаг в жизни не выкидывал и не выкинешь! Не для тебя этот цвет!

Старик даже приосанился от этой команды самому себе, выпрямил затекшую спину и, глядя на толпящихся рядом людей, подумал:

— Нет, как ни говори, а в жизни нынешней и наша доля не последняя. Вон бегают, суетятся, детишек на свет Божий производят, значит, живут. А ведь могло всего этого и не быть — ни города нашего расчудесного, ни людей этих, ни смеха детского... А то, что не помнят, так Бог им судья, — видать, так уже человек скроен. Тут хотя бы в истории нашей, российской, странички остались, кровью исписанные. Надо, чтоб остались, не всякому народу такие испытания достаются... Останутся, если только переписывать да перебрёхивать перестанут. Ну, а мы, — Степаньч опять откинулся на спинку лавочки, — мы-то скоро уж перестанем надоедать своим присутствием. Фронтовиков-то по пальцам уже пересчитать можно. Двух рук куда девать! Раньше, бывало, на День Победы под оркестр целая колонна идёт, орденами да медалями позвякивает, гордость на лицах несёт... А в этом году человек пять-шесть пришли...

Завидев приближающийся автобус, Пётр Степанович хотел было подняться, но вдруг почувствовал, что грудь его пронзила какая-то незримая пуля, — внутри будто что-то разорвалось, разлилось палящим огнём...

И стало тихо, спокойно, как никогда в жизни не было...

А до дома оставалось всего три остановки.